



## Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ

### Психология русской интеллигенции

#### I

Термин «интеллигенция» я беру в самом широком и в самом определенном смысле: *интеллигенция — это все образованное общество; в ее состав входят все, кто так или иначе, прямо или косвенно, активно или пассивно принимает участие в умственной жизни страны.*

Во избежание недоразумений необходимо пояснить, что между этими двумя признаками (1) «образование» и (2) «участие в умственной жизни страны» могут быть весьма различные соотношения. Без известного минимума образования нельзя участвовать в умственной жизни страны, но из этого отнюдь не следует, что чем образованнее человек, тем значительнее его роль в умственной жизни, для последнего требуется наличность разных других условий, как внутренних, так и внешних: умственная инициатива, талант, фактическая возможность выступить на то или иное поприще умственной деятельности и т. д. Нет надобности приводить примеры. Гораздо важнее — пояснить другой пункт, именно понятия *активного и пассивного участия в умственной жизни страны.*

Слово «пассивность» берется здесь в очень условном смысле. В жизни ума нет пассивности: все процессы мысли активны, они — *деятельность* ума, и назвать эту деятельность «пассивной» значит, в сущности, прегрешить против логического правила, предостерегающего против ошибки, известной под названием «*contradictio in adjecto*» («противоречие определения определяемому»). «Пассивная умственная деятельность» — все равно что «черная белизна», «мягкая твердость», «квадратный круг» и т. п. Пассивность деятельности есть только меньшая степень ее активности сравнительно с другой деятельностью. В этом-то смысле я и удерживаю этот неудобный термин, назы-

вая для краткости «пассивной» умственную деятельность, напр<имер>, читателей Пушкина, Гоголя, Белинского — сравнительно с необычайно активной, творческой деятельностью этих великих писателей. Давно известно, что всякое восприятие продуктов чужого умственного творчества есть, в сущности, повторение процесса этого творчества. В этом смысле вся читающая публика является участницей в умственном творчестве и во всей умственной деятельности страны. Бывает нередко и так, что умственная активность читателя значительно превосходит энергию мысли, проявленную писателем. Гоголь был великий гений, но заурядные смертные, читая его «Выбранные места из переписки с друзьями», обнаружили силу мысли настолько активную, что пресловутая книга сразу «провалилась» — по заслугам. Бывают и другого рода случаи, когда неудачное произведение писателя, так сказать, исправляется читателями, которые отбрасывают ошибки и недомыслие писателя и берут только то, что было в произведении ценного и здорового. Укажу еще на два нередко встречающихся явления, которые, при всей своей противоположности, одинаково подтверждают мысль об активности, с какой читающая публика воспринимает произведения писателей. Это, во-первых, те случаи, когда публика обнаруживает почти инстинктивное чутье к сильным и слабым сторонам писателя, предваряя приговор компетентной критики. Чехов был оценен и понят читателями раньше, чем его оценила критика. Во-вторых, это те случаи, когда публика чрезмерно увлекается произведениями писателя, влагая в них свои мысли, или когда художественные образы вызывают подражателей в самой жизни (так Печорин и Базаров породили в свое время многочисленных Печориных и Базаровых). Пусть это будет подражательность, обезьянство, мода, что хотите, но, несомненно, под этим скрывается *активность* восприятия: читатель перерабатывает образ по-своему, хотя бы и портя его. Лермонтов и Тургенев, создав эти образы, внесли крупный вклад в умственную жизнь страны; но читатели, так живо и «самостоятельно» воспринявшие эти образы, внесли и свой вклад — и еще неизвестно, какой из этих двух вкладов был — фактически — значительнее, — причем в данном случае безразлично, вышло ли это к лучшему или худшему.

Для нас важно было установить факт, что участие массы интеллигенции в умственной жизни страны не пассивно, а, несомненно, *активно*.

Это положение и послужит основанием наших дальнейших соображений.

## II

И прежде всего от него-то и следует исходить при определении границы, отделяющей интеллигенцию от всей остальной массы населения. Где кончается интеллигенция? Она кончается там, где нет того минимума образования, без которого нельзя быть хотя бы ничтожным участником в умственной жизни страны. В прежние времена (приблизительно до половины 50-х годов прошлого века) эту грань можно было видеть, так сказать, «невооруженным глазом». Интеллигенция была немногочисленна и едва-едва выходила за пределы привилегированных классов; «разночинцев» в рядах интеллигенции было сравнительно мало. Со второй половины 50-х годов заметно увеличивается их число, а реформы 60-х годов открыли доступ их массовому наплыву. Интеллигенция быстро стала демократизироваться и расти численно. С тем вместе образовался ряд промежуточных ступеней между интеллигенцией и неинтеллигентными слоями населения. Возникла и в наши дни особенно расширилась полуинтеллигентная среда, с которой уже нельзя не считаться не только в вопросах практической жизни, но и в теоретическом вопросе — вроде того, которому посвящены эти страницы. Дело идет о психологии русской интеллигенции — и вот здесь-то и пригодятся наблюдения над полуинтеллигентной средой, где типичные и важнейшие черты, какими характеризуется настоящая интеллигенция, даны либо в начатках, *in statu nascendi*<sup>1</sup>, либо в уродливо-утрированном виде.

## III

*Умственная активность* есть основная черта, которой всегда и везде характеризуется интеллигенция в отличие от остальной массы населения. Этой особенностью определяется и вся психология интеллигенции как в ее общих, типичных чертах, наблюдаемых повсюду, у разных народов и в разные эпохи, так и в ее многообразных видоизменениях, зависящих от социальных условий, какими обставлена умственная деятельность у того или другого народа, в ту или иную эпоху.

*Интеллигенция есть мыслящая среда, где вырабатываются умственные блага, так называемые «духовные ценности».* Они многочисленны и разнообразны, и мы классифицируем их под рубриками: *наука, философия, искусство, мораль* и т. д.

По самой своей природе эти блага, или ценности, не имеют объективного бытия вне человеческой психики: не существует науки, философии, искусства, морали и т. д. — как чего-то внешнего, а есть только научная, философская, художественная, моральная деятельность отдельных лиц и групп. Оттуда особо важное значение получает вопрос *о субъективном отношении лица к той или иной умственной деятельности*. Для изучения психологии мыслящего человека как представителя интеллигенции в данной стране и в данное время недостаточно указать на факт, что он причастен к тому или другому роду умственной деятельности, занимается такими-то научными или философскими вопросами, следит за успехами в этих областях и т. д. Нужно еще уяснить, чего ищет человек в этих занятиях, что ценит он в науке или философии и какое место занимают они в его душевном обиходе. Одним словом, тут выдвигается вопрос о психологических отношениях мыслящего человека к той или иной умственной деятельности, в которой он так или иначе участвует — все равно, как специалист, или как любитель, или, наконец, просто как образованный человек, следящий за успехами человеческого ума на различных поприщах.

Эти отношения бывают весьма разнообразны — смотря по человеку, а также они разнообразятся у одного и того же человека во времени (в зависимости от возраста и других условий). Кроме того, тот же человек к различным духовным благам может относиться различно. Для нашей специальной задачи достаточно будет указать лишь на две категории субъективных отношений человека к духовным ценностям.

1) Под первую категорию подойдут все те случаи, когда человек оценивает какое-либо духовное благо по существу и воспринимает его, не сообразуясь с потребностями своей души, с запросами личного развития. Здесь духовная ценность не урезывается и не обесценивается, чтобы приладиться к психике лица, а напротив, психика лица расширяется — чтобы воспринять данную ценность в ее наиболее полном выражении.

2) Под вторую категорию подойдут все случаи, когда человек, воспринимая духовные блага, руководится потребностями своего внутреннего мира — берет то, что ему нужно, отвергая то, что не нужно. Здесь психика не расширяется (в вышеуказанном смысле) или расширяется лишь односторонне, а воспринимаемые блага нередко урезаются, приспособляясь к психике лица; бывает и так, что они переоцениваются, получая значение, не соответствующее их существу.

Многие случаи, подводимые под эту вторую рубрику, принадлежат к числу широко распространенных во всем цивилизованном мире. Это явление слишком человеческое. И трудно найти человека, который был бы так разносторонне одарен, что его психика могла бы расширяться, так сказать, во все стороны и воспринимать все духовные блага, не урезывая их. Всего чаще люди оказываются способными воспринимать полностью лишь некоторые духовные блага, остальные же они так или иначе приспособляют к потребностям своего внутреннего мира.

В странах, где духовная культура давно упрочилась, где интеллигенция есть явление не новое и пережила долгую историю развития, где на разных поприщах умственного труда выработалась известная дисциплина мысли, мы не видим резкого разграничения между двумя указанными категориями. Там первая категория сводится преимущественно к творчеству духовных благ, а вторая — к той форме их восприятия, для обозначения которой всего лучше подходит термин «рецепция», применяемый в юриспруденции: духовное благо просто *примлет* всяким, кто может его воспринять, и это делается сравнительно легко и без заметного приспособления, урезывания и переоценки — благодаря усвоенной и унаследованной воспитанности мысли, ее изоциренности и восприимчивости.

Иначе стоит дело в странах отсталых, где духовная культура есть дело новое и непривычное. Там вторая категория не только преобладает над первой, но и в ней самой из массы возможных случаев выделяются и получают особое распространение и значение те, к которым неприменим термин «рецепция» и которые сводятся к напряженному *исканию идей*, к тому, что называется «выработкой миросозерцания». Здесь люди не приемлют духовные блага, расширяя сферу своих духовных интересов и углубляя емкость своей мысли, а выбирают то, что представляется отвечающим их душевным запросам. Они ищут синтеза знаний, идей, моральных стремлений, а также нередко и религиозных. Они хотели бы решить все вопросы, в том числе и неразрешимые, над которыми тщетно трудились величайшие умы. На почве этих исканий и создается так называемая «*идеология*»; всякое духовное благо оценивается не по существу, а сообразно с характером и направлением идеологии.

Интеллигенции всех стран прошли через этот фазис. Тип интеллигента-идеолога был известен повсюду; это общечеловеческий тип, в известные эпохи весьма распространенный. Но в настоящее время в передовых странах Европы он сравнительно редок и большой роли не играет.

Другое дело — у нас...

Русская интеллигенция с XVIII века и до наших дней переживает *идеологический фазис*. Этим я не хочу сказать, что все без исключения русские интеллигенты принадлежали и принадлежат к идеологическому типу. В разные времена были и теперь есть такие, которые обходились без идеологических исканий. Возможно, что их было вовсе не мало, и в настоящее время их число увеличивается. Но всегда они составляли меньшинство, и притом весьма маловлиятельное. Большинство интеллигенции принадлежало к идеологическому типу.

Его характерные черты ясно вырисовываются уже в XVIII веке — у Новикова, у Радищева и в масонстве. В первой четверти XIX века идеологические настроения усиливаются и захватывают более широкие круги интеллигенции, проявляясь и в политическом движении декабристов. Многие из декабристов (в том числе Пестель, Рылеев, Бестужев-Марлинский) были, несомненно, идеологи — не меньше Чацкого. Этот художественный образ в высокой степени типичен для интеллигенции той эпохи. Вспомните в Чацкого: это не «просто» — просвещенный человек и адепт освободительных идей, протестующий против крепостного права, обскурантизма и других отрицательных сторон тогдашней действительности, это — проповедник, пропагандист-моралист, у которого усвоенные им идеи имеют психологическое значение «религии» или, по крайней мере, доктрины, «учения», подлежащего проповеданию хотя бы в обществе Фамусовых. Пушкин заподозрил Чацкого в глупости за это метание бисера — и ошибся: это делают и всегда делали все идеологи, в рядах которых мы находим великие умы.

Идеология есть мирозерцание и система убеждений человека. Но не всякое мирозерцание и не всякая система убеждений есть идеология. Различие зависит от психологических отношений человека к его идеям, понятиям и убеждениям. Это различие бросается в глаза, но выяснить его психологические основания и дать ему исчерпывающее определение не так-то легко. Пока я указал на одну черту: на род психологически-религиозного отношения человека к его воззрениям и убеждениям как на выдающийся и наиболее ясный признак идеологической природы. Назвать эту черту *фанатизмом* нельзя, ибо, во-первых, не всякий фанатик — идеолог, а во-вторых, как я постараюсь выяснить это, идеолог может и не быть фанатиком, подобно тому, как есть природы глубоко религиозные, но отнюдь не обнаруживающие религиозного фанатизма.

Обратимся еще раз к Чацкому. Мы не причислим его к фанатикам. Фанатизм есть порабощение ума и воли властной идеей — род «монomanии». Такого порабощения у Чацкого мы не находим. Но мы видим у него другое. Глубокое противоречие между его идеалами и гуманными понятиями, с одной стороны, и обскурантизмом, отсталостью и нравами окружающего общества — с другой, порождает в нем резкие чувства нравственного оскорбления и негодования. Чацкий переживает «миллион терзаний» и при этом не замечает иллюзии, которой он невольно поддается: он противопоставляет свои понятия — понятиям среды, вступает в споры, проповедует свои идеи Фамусову и Скалозубу, предполагая, что тут происходит столкновение нового миросозерцания со старым, и обольщаясь мыслью, будто можно «горячим» словом убеждения обратить отсталых и темных людей «на путь истины». Так и все мы склонны думать, забывая, что тут вовсе нет столкновения двух «миросозерцаний»: у Чацкого, конечно, есть свое миросозерцание и своя система убеждений, но ни у Фамусова, ни у Скалозуба, ни у Молчалина никакого «миросозерцания» нет — и выходит, что идеи Чацкого сталкиваются не с идеями Фамусовых и Скалозубов, а с их традиционными психическими навыками, которых не проймешь «горячим словом убеждения», — и в борьбе с которыми бессильно само образование, пока устои быта остаются те же. Позже русская жизнь выдвигала не раз очень образованных Фамусовых и весьма просвещенных Скалозубов, не говоря уже о многочисленных Молчалиных с высшим образованием. Чацкий с его передовыми идеями и вся эта среда с ее отсталыми понятиями находятся в разных плоскостях. Идеи столкнулись здесь не с идеями, а с бытом. *Вот именно это фатальное, исторически обусловленное столкновение передовых идей с отсталым бытом и образует почву, на которой вырастают идеологии.* На этой почве всякий гуманный и убежденный человек, все равно — фанатик ли он или нет — по необходимости превращается в идеолога.

Это подтверждается примером тех, которые по складу ума и по натуре, казалось бы, вовсе не призваны к идеологической деятельности — к выработке цельной системы воззрений и к проповедованию идей. Волей-неволей при столкновении их понятий с бытом и они становятся в позу идеолога и вносят свой вклад в развитие идеологий или, по крайней мере, содействуют хотя бы пассивно и нехотя упрочению традиции идеологического отношения интеллигенции к действительности. Таков современник Чацкого Онегин — широкий тип передового челове-

ка 20-х годов, но без горячности Чацкого, тип человека с «охлажденным умом, кипящим в действии пустом». Онегин, в противоположность Чацкому, — не проповедник, не обличитель, не трибун, а все-таки он переживает мучительное чувство разлада с действительностью и является представителем идеологического настроения эпохи конца 20-х и начала 30-х годов. За ним в хронологическом порядке следует Печорин, натура столь же не призванная к идеологической деятельности, но не менее ярко обнаруживающая неизбежность идеологических настроений при столкновении идей с бытом.

20-е и 30-е годы были эпохой подготовки наших идеологий — их зарождения. Чацкие, Онегины, Печорины — отщепенцы от окружающей среды, а это и образует необходимую предпосылку для возникновения идеологических настроений. Могло, конечно, случиться, что в ту эпоху дело ограничилось бы только настроениями, предрасположением к идеологическому творчеству, само же это творчество могло и не обнаружиться — за отсутствием лишь обладающих необходимыми для этого дарованиями. В действительности случилось обратное: дело не ограничилось настроениями — явился деятель мысли с несомненным призванием к идеологическому творчеству. Как человек, он представлял собою законченный тип отщепенца, и в его духовном складе причудливо совмещались характерные черты и Чацкого, и Онегина, и Печорина. *Это был Чаадаев.*

В идеологии Чаадаева, чуть ли не самой стройной, цельной и оригинальной из всех наших идеологий, ярко выступают черты, присущие всем идеологиям, но в большинстве из них более или менее замаскированные или затушеванные другими сторонами. Эти черты сводятся к тому, что можно назвать «игрою ума», «кабинетным творчеством», субъективным построением, где произвол фантазии причудливо сочетается с логической силой мысли и где ярко отпечатались личные предрасположения, личные вкусы, симпатии и антипатии автора. Трудно найти систему идей более личную, индивидуальную. Чаадаев не имел последователей, и вскоре его идеология была заслонена и затерта другими. Чтобы стать адептом доктрины Чаадаева, нужно быть самому хоть немножко Чаадаевым. *В этой особенности я вижу только крайнее выражение черты, в смягченном виде присущей всем идеологиям.* Все они по-своему стройны и логичны, но — подобно религиям — обращаются больше к чувству, к моральным предрасположениям, чем к уму человека, и для их принятия требуются известные «вкусы». Адепты раз-



ных идеологий могут спорить без конца и не договариваться ни до чего. Знаменитые русские споры, кипящие со времен Онегина, кипели именно по той причине, что все наши направления были по преимуществу идеологическими.

Другая черта, присущая — в большей или меньшей мере — всем идеологиям, а у Чаадаева выступающая с особенной яркостью, состоит в том, что философская (теоретическая) часть их не имеет всеобщего значения, какое имеют настоящие философские системы, а их практическая (прикладная) сторона, слишком тесно связанная с философской, не получает реальной силы — практического дела, в смысле общественной или политической деятельности — деятельности *партии*. В лучшем случае выходит нечто вроде секты.

*Идеолог слишком философ, чтобы быть практическим деятелем, и слишком моралист, публицист и деятель жизни, чтобы быть настоящим философом.* Философские и научные ценности приносятся у него к моральным и практическим запросам, а эти запросы получают своеобразную философскую постановку, отпугивающую всех, кто, имея те же запросы, не может ее принять. Идеологии, если они сколько-нибудь разработаны, обращаются, подобно религиозным верованиям, к тем, которые по своему духовному складу к ним предрасположены, и в этой среде они вербуют адептов и получают распространение.

В идеологии Чаадаева эти черты получили крайнее выражение. Чтобы принять ее, нужно было разделять его мистику и его пристрастие к католицизму, нужно было возвыситься до горького национального отчаяния, до презрения к России, ее прошлому и настоящему, нужно было отчаяться в ее будущем, оставив, впрочем, лазейку, чтобы потом уверовать в него, наконец, нужно было совместить в себе «миллион терзаний»<sup>2</sup> Чацкого с онегинскими «ума холодными наблюдениями и сердца горестными заметами»<sup>3</sup>, да еще в придачу обладать печоринским<sup>4</sup> злорадным презрением ко всему окружающему. Психологическими предпосылками идеологии Чаадаева явилось именно отщепенство Чацких, Онегиных и Печориных, и в этом смысле она была характерным продуктом своего времени. Этим объясняется и живой интерес, который она возбудила во всех мыслящих людях 30-х годов, от Пушкина до Герцена. Но ни один из них не стал адептом идей Чаадаева. Ни чаадаевцев, ни чаадаевщины не было, если не считать случайных совпадений вроде эмиграции и перехода в католицизм доцента Московского университета Печорина, ставшего иезуитом, или

разрозненных отголосков чаадаевской критики русской истории и культуры у некоторых позднейших писателей. Все это проявления аналогичных — чаадаевских — настроений, но вовсе не традиция и не влияние «Философских писем» московского мыслителя 30-х годов.

В истории развития наших идеологий этот период можно назвать «доисторическим»: настоящая история наших идеологий начинается лишь в 40-х годах, когда возникли два основных течения русской идеологической и общественной мысли — *славянофильство и западничество*. Это были первые у нас проявления умственного творчества, получившие общественное и даже (в возможности и в последующих воздействиях) политическое значение. В этом смысле их и называют «партиями». Но вот что сразу бросается в глаза и может смутить постороннего наблюдателя: эти враждующие «партии», казалось бы, совсем непримиримые, в практических пожеланиях сходились по всем существенным пунктам; обе одинаково жаждали освобождения крестьян, ограничения бюрократической опеки, широкой постановки народного образования, свободы совести и печати. С этой стороны эти две партии сливались в одну, и здесь до поры до времени не было поводов к спору и вражде. Тем не менее вся история их в 40-х и частью в 50-х годах была сплошным спором и непрерывной враждой. Искать причин этого разлада в общих философских предпосылках нельзя, потому что обе партии черпали их из одного и того же источника — из немецкой идеалистической философии; большинство западников и славянофилов были гегельянцы. Разлад был обусловлен различным пониманием русской истории, национальных особенностей русского народа и его призвания в будущем. Западники были патриотами и даже националистами не меньше славянофилов (достаточно вспомнить Белинского и Герцена), но они не идеализировали Московской Руси, как это делали славянофилы, прославляли Петра, которого славянофилы ненавидели, и, наконец, расходились с ними по религиозному и вероисповедному вопросу.

В сущности дела эти разногласия были чисто теоретическими, и в другое время они не могли бы привести к столь резкому расхождению. Но дело в том, что тогда тот или иной взгляд на исторический ход вещей в России не только был предметом отвлеченного, научного интереса, но имел огромное идеологическое значение. Исторические воззрения западников являлись в глазах славянофилов вредной ересью и глубоко оскорбляли их национальное чувство; славянофильская философия истории

казалась западникам и произвольной, и фантастической, и реакционной. И эти «партии», в практических требованиях сходящиеся, стремившиеся к одному и тому же, стояли друг против друга в постоянной боевой готовности, как две секты, исповедующие одного и того же Бога, но различно истолковывающие известные догматы и придерживающиеся разных обрядов.

Эти идеологии разрабатывались в знаменитых московских *кружках*, отгороженных от остальной России своего рода «китайской стеной»; внутри кружков кипела богатая жизнь духа и развертывалась замечательная умственная деятельность; ничто человеческое не было чуждо обитателям этих интеллигентских оазисов — их умственные и нравственные интересы были широки и разносторонни; они мыслили и чувствовали за свою Россию: это были те избранники, которые среди всеобщего сна проснулись, которые среди повальной умственной тьмы и нравственной слепоты прозрели и устремились к свету знания и идеала. Почти все они были восторженные идеалисты с очень эмоциональным и сентиментальным укладом психики, с умом отзывчивым и чутким, со всей гаммой высших чувств — эстетических, моральных, религиозных. Им была знакома и гражданская скорбь, и мировая. Дневник Герцена и письма Белинского отразили это богатство духовной жизни вернее и полнее, чем отразилась она в литературе той эпохи.

Вспомним индивидуальные черты, умы и натуры тех лиц, которых деятельность на этом поприще отличалась особой творческой силой и стала историческим фактом, составившим эпоху в истории нашего умственного, морального и общественного развития.

Тут прежде всего вспоминается великое имя Белинского. Вот человек, призванный к созданию идеологии, по тому времени наиболее широкой, плодотворной и жизнеспособной. При всей своей столь известной страстности, горячности и нетерпимости, «неистовый Виссарион» отнюдь не был *фанатиком*. Он был — для фанатика — слишком мыслитель, слишком человек рефлексии и ум свободный и критический; все это решительно не мирится с фанатизмом; по той же причине Белинский не был и не мог быть *доктринером*. В нем исключительный дар отвлеченного, философского мышления счастливо сочетался с исключительным чутьем действительности. Для жизнеспособной и прогрессивной идеологии необходимо и то, и другое. Но у Белинского было еще третье, не менее важное: высокий моральный строй души и вытекающий оттуда дар человеческой скорби и нравственного негодования.

Этот человек был самым ярким представителем и призванным «лидером» западничества 40-х годов. И эту миссию он выполнил так блистательно именно благодаря тому, что был не *просто* литературный критик, теоретик искусства, моралист, публицист, а сумел всем этим сторонам своей деятельности придать *идеологическое значение*. Поэтому-то его слово и было «словом со властью», и он явился властителем дум и воспитателем как своего поколения, так и последующих. На всей деятельности Белинского наглядно сказалась *необходимость* идеологий при известных условиях, исторически сложившихся. Дело в том, что этот необыкновенный человек, столь одаренный всем, что нужно для деятельности идеолога, имел все задатки для иного — высшего творчества. Живи он в иную эпоху, когда бы уже не было столь настоятельной потребности в идеологиях, он мог бы специализироваться в той или иной области творчества, напр<имер> философского или научного (всего скорее — по истории литературы), или, наконец, в области художественной критики и по вопросам эстетики. На этих поприщах он внес бы немало оригинального и ценного в сокровищницу общечеловеческой мысли, ибо он обладал всеми данными для самостоятельной разработки различных духовных ценностей *по существу, an sich*, независимо от их значения для русского интеллигента той или иной эпохи и ввиду запросов времени. Вместо того из него вышел типичный русский идеолог, который выбирает из сокровищницы человеческой мысли те ценности, которые нужны ему самому «для души» и которые кажутся ему важными или подходящими для насаждения в отсталой стране гуманных понятий, для умственного и морального развития общества. Он находил их в немецкой идеалистической философии, в частности — в гегелианстве. И не только он, не знавший немецкого языка, но и другие, как, напр<имер>, Грановский, Герцен, Боткин, изучавшие Гегеля в подлиннике, интересовались этой философской системой *не как таковой, с точки зрения развития философских идей и их влияния на умственную жизнь века, их значения в ряду других систем, а как некоторым кладезем мудрости, который может утолить духовную жажду и вместе с тем наставить русского человека на путь истины, объяснить ему, как он должен мыслить, какие убеждения иметь и что делать в России в 40-х годах*. И Гегель действительно дал многое русским интеллигентам того времени «для души» и научил западников быть западниками, а славянофилов — славянофилами. Почему именно Гегель (при некотором

содействии со стороны Фихте и Шеллинга) сыграл такую роль в России Фамусовых, Скалозубов и Молчаливых, почему тут не повезло ни Канту, ни Спинозе, это объяснили нам историки. Примем их объяснения (а не принять их нельзя), но все-таки остановимся на минуту на следующем соображении или, пожалуй, недоумении. Дело ведь шло о том, чтобы в спертую атмосферу дореформенной России впустить свежего воздуха и чтобы иметь возможность проводить в умы гуманные и освободительные идеи. Казалось бы, эти идеи сами по себе ценны и в самих себе заключают свое оправдание, не нуждаясь в метафизическом обосновании. И их можно черпать откуда угодно: из Евангелия, из философии Канта, из философии Спинозы, из произведений Мильтона, из поэзии Шиллера, из сочинений Фихте-старшего, из стихов Гейне и т. д., и т. д.

*Гуманность, просвещение, освободительные идеи не нуждаются ни в религиозной, ни в философской санкции, ибо они самоценны и сами по себе составляют величайшее благо.* Когда ищут их санкции в религиях или в философских системах, то это умаляет их достоинство и грозит им немалой опасностью ввиду разноречия религий и разноголосицы философских систем, в особенности же в силу того общеизвестного факта, что из любого религиозного вероучения и из любой философской системы можно, при желании и некотором усердии, вывести все, что угодно: гуманное и негуманное, освободительное и порабощительное. Из системы Гегеля легко выводилось и славянофильство, и западничество, примирение с действительностью и разрыв с нею, прусский консерватизм и немецкий социализм. Тот же Белинский в 1835—1840 годах по Гегелю примирялся с русской действительностью и писал такие статьи, как «Бородинская годовщина» и «Менцель как критик Гете», от которых потом, исходя из того же Гегеля, он отрекался со стыдом и горечью.

Повторяю: принципы гуманности, требования прогрессирующей человечности, задачи просвещения, освободительные — в обширном смысле — идеи должны быть изъяты из-под ферулы религиозных и философских систем, к чему и приводит прогресс культуры и мысли. И мы видим, что в Зап<адной> Европе и в Америке эти самоценные блага приемлются и разрабатываются одинаково людьми различных религиозных исповеданий и последователями весьма разнообразных философских направлений, а равно и людьми безрелигиозными и теми, которые не знают никаких философских систем.

*Это — великое завоевание культуры.* Россия (да и Зап<адная> Европа) в 40-х годах была еще далеко от этой стадии раз-

вития — потребности просвещения, запросы гуманности и освободительные идеи были тогда столь слабы, что безусловно нуждались в санкции — если не религиозной, то философской... *Созданием идеологии и достигалась эта санкция или ее иллюзия.*

Любопытно отметить различие между западничеством и славянофильством: идеология западников была шире и свободнее, потому что главным источником ее была идеалистическая философия, допускающая критику и подлежащая дальнейшему развитию, между тем как у славянофилов кроме этой философии были и другие источники идеологии, именно: 1) *болезненно-повышенное национальное чувство*, 2) *исторический романтизм* (идеализация Московской Руси) и 3) *национальный мессианиззм*. Эти идеи и чувства, как видно из примера всех националистических направлений и партий, принадлежат к числу тех, которые легко вызывают своего рода манию, поработавшая мысль и волю, и быстро превращаются в узкую и властную доктрину, в систему идей, очерченных заколдованным кругом. Оттуда — умственное рабство, дух нетерпимости и фанатизм, которым в большей или меньшей мере характеризовались славянофилы — в отличие от западников. Тургенев был прав, когда этим отсутствием внутренней свободы объяснял скудость творчества славянофилов, в ряду которых были деятели огромного ума и великих дарований.

Славянофилы были идеологами в значительно большей мере, чем западники, в числе которых мы встречаем лиц, весьма мало расположенных к идеологическому творчеству; вспомним хотя бы В. П. Боткина и И. С. Тургенева. Наряду с Белинским истым идеологом западничества был Герцен, склонявшийся по некоторым вопросам к славянофильству и очень ценивший идеологическую ревность К. Аксакова, Киреевских, Хомякова, к которой Белинский относился с нескрываемой антипатией. В этой антипатии не следует видеть исключительно выражения партийной нетерпимости и полемической запальчивости великого критика: здесь сказывалось также естественное отвращение свободного ума, который не переставал бороться с собственными идеологическими увлечениями и неоднократно разбивать свои временные кумиры, к духовному рабству людей, которые раз и навсегда создали себе свои кумиры и так и застыли в молитвенной позе перед ними. Типичный русский идеолог, Белинский вместе с тем был одним из самых свободных умов в России, которому органически претило всякое идолопоклонство.

То, что можно назвать западнической идеологией, вовсе не связывало мысли и не обязывало — «веровать и исповедовать» по определенной, резко очерченной догме идей. Западников объединяло убеждение в необходимости приобщения России к западноевропейской цивилизации и к общечеловеческому просвещению. Объединяла их также и ненависть к застою, мракобесию, невежеству, диким нравам и варварским порядкам. На этом сходились натуры и умы весьма различные — люди, искавшие своих идеологий далеко не в одном и том же направлении. Они вечно спорили и состязались не только со славянофилами, но и между собой. Однажды кружок чуть не распался из-за вопроса о бессмертии души.

Деятельность западников и славянофилов имела огромное значение: от них пошло все наше идеологическое развитие со всеми его воздействиями и последствиями. Генетические нити протягиваются через десятилетия, напр<имер> от Белинского не только к Чернышевскому, но и дальттр — к Плеханову, от Герцена и славянофилов к народничеству разных толков в эпоху от 60-х до 80-х годов включительно.

Но нас интересуют здесь не эти вопросы преемства и эволюции идей — нас занимает другой вопрос: как складывалась в процессе этого развития идей психология русской интеллигенции?

#### IV

*Эта психология слагалась и развивалась в навыках идеологических исканий.* Западничество и славянофильство были отличной школой, воспитывавшей вкус к идеологии, изошрявшей умы в идеологическом мышлении и в поисках общих идей, принципов, исходя от которых россиянин может решить — для себя — все вопросы бытия и мысли, включая сюда и пресловутый вопрос о «смысле жизни» вообще и в частности вопросы «что делать?» и «как мне жить свято?».

Интеллигенция с гимназической скамьи стремится к «выработке миросозерцания». И в этом направлении обнаруживает большую активность. Подражание и мода, конечно, свое дело делали, но сравнение с Панурговым стадом<sup>5</sup> решительно не годится, хотя бы уже потому, что подражание, как доказывал покойный А. А. Потебня и как это можно считать установленным, есть разновидность творчества. К тому же склонность подымать и решать все вопросы, в том числе и те, которые не под

силу величайшим умам человечества, это — вечное свойство юности, нормальная принадлежность возраста. И ничего дурного тут нет — бывает только наивное и смешное.

Но для нас важно отметить две черты: 1) *прочность идеологических навыков и стремлений, не зависящих от возраста: русские интеллигенты часто сохраняют их и в зрелых летах;* 2) *расширение сферы идеологических исканий, распространяющихся на все, что выплывало на поверхность умственной жизни в Зап<адной> Европе.*

Обратимся к этому второму пункту.

Переход от Гегеля к Фейербаху совершился еще в 40-х годах. Идеи Фейербаха вошли в идеологию Белинского, Герцена, Бакунина и потом Чернышевского. С конца 50-х годов наступила очередь материалистической философии Малешота и Бюхнера, и зачинался культ естественных наук. Появляются «нигилисты» с Писаревым во главе. Но очень скоро, уже в половине 60-х годов, Бюхнер, Малешот и Карл Фохт оттесняются Огюстом Конттом — наступает продолжительная (до 80-х годов) эра господства позитивной философии, идеологически использованной Михайловским и Лавровым и приведенной в связи с идеями дарвинизма и с социализмом Карла Маркса. Этот синтез, куда вошли и народнические, демократические, и освободительные идеи, образует господствующую в 70-х годах идеологию, в которой многое осталось бы непонятным, напр<имер>, Дарвина или Дж. Ст. Миллю и заставило бы Ог. Конта перевернуться в гробу...

Как и почему мог образоваться такой синтез? Ответ нетруден: Дарвина, Конта и Маркса брали не по существу, не an sich<sup>6</sup>, а идеологически — применительно к душевным запросам русских интеллигентов, ищущих мирозерцания и объяснения смысла своей жизни. И это было несомненное творчество — не только в великолепных статьях Михайловского, отмеченных печатью гения, или в глубоко продуманных статьях и книгах Лаврова, основанных на огромной эрудиции, но и в головах многочисленных интеллигентов, которые эти статьи и книги обсуждали в своих кружках и спорили на эти темы так точно, как некогда спорили в кружках 40-х годов, как спорил Михалевич с Лаврецким<sup>7</sup>. Переменились темы, идеи, имена — но неукоснительно продолжалась традиция идеологических споров.

Эти всероссийские споры — благодарная тема для пародии и шаржа. Но было бы непростительной ошибкой упускать из виду их положительную сторону и их — скажу прямо — твор-



ческое значение. Можно документально доказать, что в них-то и выковывались наши идеологии и направления. В московских спорах 30-х годов созрел и закалился гений Белинского. В них же выковались основы западничества и славянофильства. Идеологии 60-х и 70-х годов явились также продуктом такого коллективного интеллигентского творчества. И если Белинский, Герцен (до эмиграции), потом Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Михайловский оказали, как идеологи, столь могущественное влияние на умы и могли делать, по выражению Добролюбова, «благое дело среди царящего зла», то это объясняется не только силой их таланта и значением их идей, но также и в значительной степени тем, что эти идеи заранее возникали в среде передовой интеллигенции и долго потом дебатировались в кружках. Таким же путем возник и распространился «марксизм» 90-х годов — в эпоху ожесточенных споров между марксистами и народниками. То же самое мы скажем и об идеализме и мистицизме, подготовлявшихся исподволь с 80-х годов и выступивших в качестве очередных идеологий в первых годах текущего столетия.

Можно смело сказать, что наши идеологии, в особенности же наиболее значительные и влиятельные из них, не были продуктом единоличного творчества гениев или талантов, увлекавших «толпу»: они возникли в самой гуще интеллигентской жизни. Тут перед нами не «толпа», а в психологическом смысле организованные кадры интеллигенции — перед нами мыслящая среда, проявляющая большую умственную и моральную активность. В ней и воспитывались наши идеологи, черпая оттуда отправные точки, материал идей и все вообще умственные и нравственные предпосылки для своего индивидуального творчества. И их идеологические построения возвращались обратно в эту среду — как к себе домой, являясь стимулом для дальнейшего коллективного творчества.

## V

Из вышесказанного вовсе не следует, что у нас любой интеллигент — непременно идеолог. В силу неизбежной дифференциации уже в 20-х и 30-х годах интеллигенция разделилась на две части: одна принимала непосредственное и активное участие в создании и разработке идеологий, другая либо стояла в стороне от движения умов, либо вовлекалась в идеологическую деятельность случайно и временно. Без всякого сомнения, уже

в 20—40-х годах далеко не вся интеллигенция входила в кружки мыслящих и ищущих людей, каковы были «архивные юноши», шеллингианцы 20-х годов (Веневитинов, кн. В. Ф. Одоевский и др.), потом, в 30-х годах, кружки Станкевича и Герцена, позже — кружки западников и славянофилов. В этих кружках бился пульс духовной жизни, но за их пределами были и по-своему мыслили интеллигентные люди, не принимавшие активного участия в создании идеологий, но тем не менее вносявшие свой вклад в умственную жизнь России. Вклады эти были разные — разного достоинства и размера. Иные из них были огромны: достаточно указать на Пушкина, который не был идеологом; на Гоголя, идеология которого, выраженная в «Переписке с друзьями», была отрицательной величиной и почти никакого влияния не оказала; на Лермонтова, подобно Пушкину, чуждого идеологической деятельности. В интеллигентной среде были лица, не примыкавшие ни к западничеству, ни к славянофильству; были и такие, которые, примыкая к тому или другому направлению, не принимали заметного участия в выработке и в пропаганде западных или славянофильских идей. С распространением образования, с умножением читающей публики эта дифференциация усиливалась — в том смысле, что в одну сторону все больше приливалось образованных людей, ищущих миросозерцания и настроенных идеологически, а с другой стороны, заметно росло число просто образованных людей, для которых идеологические искания не являлись душевной потребностью. Любопытно отметить, что это разделение несколько не вредило ни той, ни другой стороне. Это был естественный и необходимый «отбор» и в своем роде разделение труда. В результате выходило, что множество лиц, вмешивавшихся в идеологические споры в годы юности (юноша — прирожденный идеолог, до известного возраста, для разных натур различного), вскоре отпадали, убедившись в своей непригодности для идеологического творчества, и последнее становилось достоянием «призванных» — всех тех, которые не могут успокоиться, пока не выработают миросозерцания, не решат вопроса о смысле жизни и не выяснят себе, как им «жить свято». Это шло на пользу тем и другим, избавляя одних от лишней обузы, от душевного груза и содействуя сосредоточению идеологического творчества в среде, наилучше к нему приспособленной.

Какой из этих двух частей интеллигенции следует отдать предпочтение — это уже другой вопрос, требующий сперва правильной постановки.

Для такой постановки, по моему мнению, нужно следующее.

Во-первых, необходимо перенести вопрос из области субъективных стремлений и запросов идеологической части интеллигенции на объективную почву и формулировать его так: что важнее и полезнее в целях умственного, морального и общественного прогресса России — идеологическое ли творчество интеллигенции или накопление и распространение духовных благ, совершаемые сотрудничеством всех просвещенных людей независимо от того, подчиняют ли они свою мысль и волю феруле какой-либо идеологии или нет?

Во-вторых, надо взглянуть на дело с исторической точки зрения и поставить вопрос: не следует ли различать эпохи, когда действительно прогресс России был тесно связан с развитием и успехом идеологий, от других эпох, когда идеологии теряли такое значение?

Ответ на первый вопрос зависит от ответа на второй, с которого и начнем.

Выше я упомянул мельком о том, что юности свойственны идеологические настроения и искания. То же самое приходится сказать о «молодом» обществе, т. е., точнее, таком, которое не имеет традиции умственного развития; для него умственные интересы, идеи, идеалы есть нечто новое и чужое, не свое, — и общество их заимствует, переживая подражательный период развития. Ему трудно разбираться в массе образовательного и идейного материала, нахлынувшего из-за границы, и оно берет готовые шаблоны и системы идей, усваивая их *идеологически*, как учение, как доктрину, которую приходится принять на веру. Так в XVIII веке воспринимались и «вольтерианство» и масонство. Это уже были идеологии, которые нельзя назвать самостоятельными или самобытными; мы назовем их «самодельными», как можно назвать самодельным продуктом неумелую копию с чужого образца.

В этом начальном периоде идеологическое отношение ко всяким духовным благам безусловно необходимо — оно могутственно содействует развитию умственных интересов, шевелит застоявшиеся в бездействии мозги, воодушевляет и увлекает вперед.

Столь же необходимо и благотворно идеологическое устроение в эпохи, когда очередной задачей времени является выработка национального самосознания. Национализм у народов, которых национальное развитие стеснено, всегда принимает идеологический характер и нередко превращается в настоя-

щие идеологии, в законченные системы идей. Таковы, напр<имер>, польские и украинские националистические идеологии.

У нас в 30-х и 40-х годах очередной задачей интеллигенции была выработка не столько общественного, сколько национального самосознания. Оттуда — видное место, какое в воззрениях мыслящих людей того времени занимали исторические понятия, то, что можно назвать философией русской истории в ее отношениях к истории западноевропейских народов. Это и было центральным пунктом построений Чаадаева, и это же послужило яблоком раздора между западниками и славянофилами. Сравнительно с системой идей Чаадаева, которая претендовала на мировое значение и образовала замкнутый круг, откуда нет выхода, а были только лазейки, идеологии славянофилов и западников представляют собой значительный прогресс — в смысле разумного ограничения задачи и ее постановки на почву научных изучений (преимущественно в области русской истории). В рядах славянофилов выдвинулся на этой почве К. Аксаков, в рядах западников — Кавелин и С. М. Соловьев. Столь же благотворно сужение задачи сказалось и в вопросах общественности: вместо решения мировых проблем озабочивались постановкой насущных вопросов русской жизни и прежде всего вопроса об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Известно, какую услугу России оказали позже, когда пробил час эмансипации, на этом поприще и славянофилы, и западники. Здесь мы видим воочию доказательство жизненности и плодотворности идеологического движения 40-х годов. Можно вообще сказать, исходя отсюда, что чем идеология уже, чем определеннее ее проблемы, приуроченные к очередным историческим задачам эпохи, тем она плодотворнее и может сыграть крупную роль в прогрессивном развитии нации. Это положение оправдывается и на примере последующих идеологий, возникавших со второй половины 50-х годов. Тут на первый план выдвигается народничество, в состав которого вошли элементы и славянофильские, и западнические.

Народничество (разных оттенков) — одна из самых *узких* идеологий, и в этом его сила, его историческое значение. В центре системы здесь ставится идея народа, крестьянства, и на первый план выдвигается моральное требование уплаты долга народу — посильным служением его благу. Все прочее, философское, научное, религиозное, политическое, моральное, подчиняется господствующему *культу народа*, и мы знаем, что вокруг «идеи мужика», как вокруг солнца, вращались все светила: Фейербах, Дарвин, Спенсер, Конт, Карл Маркс: все они

прямо или косвенно, положительно или отрицательно внесли свою лепту в развитие доктрины русского народничества различных оттенков. Достаточно вспомнить покойного Юзова-Каблица, который для своей доктрины крайнего народничества черпал аргументы отовсюду.

Народничество в разных его видах и другие — не народнические в тесном смысле, но родственные ему — направления, каковы доктрина Михайловского и утопический социализм 70-х годов, сыграли крупную роль в истории нашего идейного и морального развития — и не только своим прямым или косвенным влиянием, но и тем, что они были самым оригинальным и самостоятельным продуктом русского идеологического творчества.

Вот почему и кризис народничества, наступивший в 80-х годах, обострившийся в 90-х и затянувшийся до наших дней, и есть кризис русского идеологического творчества вообще. Оно сделало все, что могло и должно было сделать, оказав нашему умственному и нравственному прогрессу незабываемые и неоцененные услуги. Оглядываясь назад, мы можем сказать, что главной движущей силой этого прогресса в течение всего XIX века были у нас именно наши идеологии. Теперь их роль сыграна, и наступает новая эпоха, когда на смену им выступают политические *партии* в европейском смысле этого слова, а просветительная миссия идеологий сменяется более широкой культурной деятельностью интеллигентных сил, определяемых и движимых уже не той или иной идеологической доктриной, а признанием высокой ценности духовных благ по существу и убеждением в необходимости их наивозможного широкого распространения в массе народа.

Кризис подготовлялся исподволь увеличением числа тех лиц, для которых ферула господствующих идеологий оказывалась стеснительной. С 80-х годов среди интеллигенции раздается лозунг «беспартийности», причем эту беспартийность нужно понимать в идеологическом смысле — свободы от обязательных норм той или иной идеологии. В числе деятелей, выступавших с этим лозунгом, был Чехов, которого тогда и укоряли в беспринципности. Теперь мы знаем, что свобода от власти идеологий вовсе не означала беспринципности и далеко не всегда приводила к идейному и общественному индифферентизму.

В настоящее время этот тип интеллигента без определенной идеологии, но с весьма определенными принципами и выработанным общественным и политическим направлением получает все большее и большее распространение.

Идеологические искания, разумеется, не исчезли, да едва ли когда-нибудь исчезнут, но они становятся ныне принадлежностью отдельных лиц, любителей, как было это вначале, в XVIII веке, и направляются преимущественно на общепhilosophические и религиозные темы. Таково современное богоискательство, богостроительство и философское мудрование наших метафизиков и мистиков. Вопросы практической морали, общественности и политики уже почти освободились из-под ферулы идеологического мышления. Попытка гг. Струве, Гершензона, Бердяева и других вновь обосновать эти вопросы жизни на идеологической почве оказалась несостоятельной и обнаружила всю ненужность такого обоснования: все эти вопросы уже вышли из области кабинетного творчества и поступили в ведение жизни.

Последней идеологией из числа тех, которые выдвигали на первый план проблему о «смысле жизни» и давали определенный ответ на вопрос «как жить свято», была идеология Л. Н. Толстого; но она явилась, в отличие от других, идеологией чисто сектантской и как таковая не может претендовать на руководящую роль, аналогичную той, какую в свое время играли идеологии славянофилов, западников, Чернышевского, Михайловского, чистых народников и др.

Идеологии проделали весь круг своего развития — от масонства XVIII века до Л. Н. Толстого и новейших искателей «истины». Этот круг оказался замкнутым: спустившись с мистических и философских высот, идеологическая мысль вплотную подошла к жизни и затем круто повернула назад, чтобы воспарить в высоту. Оттуда ей уже нелегко будет спуститься на землю, где ее место будет занято общественными направлениями, политическими партиями и беспартийной культурной деятельностью лиц, не нуждающихся в идеологическом обосновании своих воззрений. Вместе со старой Россией отходят в прошлое и старые идеологические споры, которые то заменяли дело, то сопутствовали и делу и безделю.

Ближайшие поколения помянут добром наши старые идеологии и воздадут им должное — по заслугам, но вернуться к идеологическому фазису не захотят, ибо сама психология русской интеллигенции будет уже не та, какая характеризуется преобладанием идеологических настроений. Она будет жить — в лучшем смысле этого слова, а не искать смысла жизни, предоставляя это головоломное занятие призванным мыслителям; она будет жить полнотой умственных, нравственных и общественных интересов, не претендуя на «святость» — удел избранных.

Будут, конечно, и эти избранники, как будут и мыслители, занимающиеся вопросами высшего порядка, разрешимыми и неразрешимыми. Но масса интеллигенции, занятая на различных поприщах культурного труда, который с развитием культуры все более специализируется, найдет смысл жизни в этом самом труде, при очевидности его пользы, и ее творчество, теряя в экстенсивности, какой характеризуются идеологии, выигрывает в интенсивности.

Продуктивность интеллигентного труда значительно возрастет; не будет напрасной траты сил, неразлучной с идеологическим творчеством, пойдет на убыль и зачастую связанная с этим творчеством мечтательная погоня за призраками.

Духовные блага не будут нуждаться в идеологической санкции — по той простой причине, что из мечтательных они станут реальными и превратятся в настоящие ценности, требующие только одного — труда и притом труда специального, на всех поприщах жизни и мысли.

